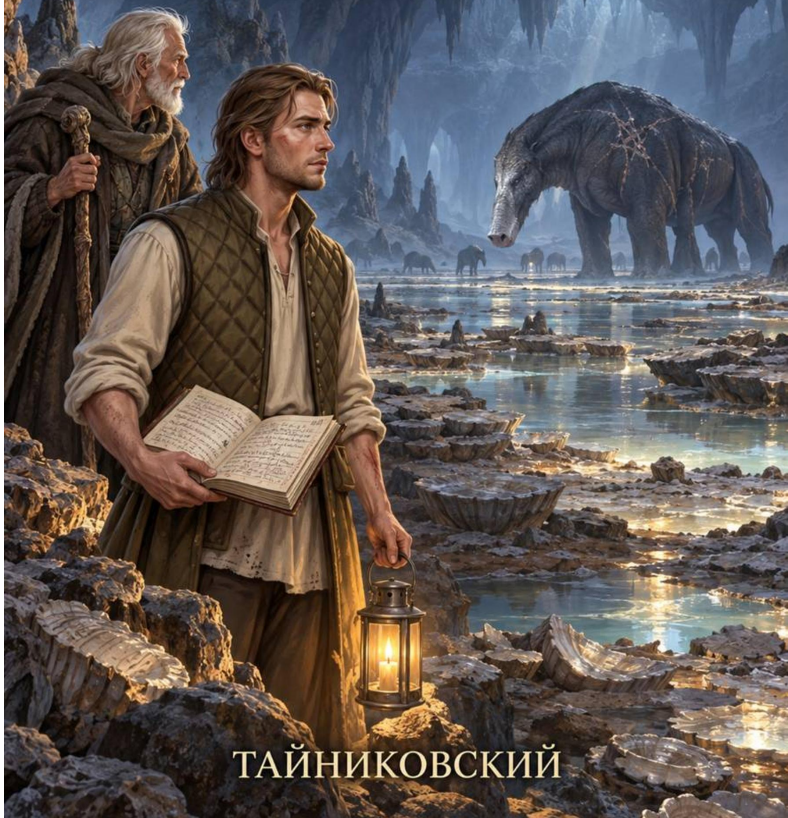


КИСЕЛЬНЫЕ БЕРЕГА

РЕННЕЛЬСКОЕ УРОЧИЩЕ · КНИГА ПЯТАЯ



ТАЙНИКОВСКИЙ

Тайниковский Тайниковский

Кисельные берега

Серия «Реннельское урочище», книга 5

<https://litres.ru/74598678>

SelfPub; 2026

Аннотация

Зоолог Артём Волошин умер, думая о накладной на кормовые смеси, и очнулся в теле молодого барона.

Наследство: заповедник магических зверей, четыреста тридцать два золотых долга и двести восемьдесят шесть медяков в кармане. Плюс дракон, который размеры которого зависят от золота.

Немного не свойственный для меня жанр, но как начал писать - не смог остановиться) Надеюсь вам понравится!

Завершающая книга цикла.

Содержание

Глава 1	4
Глава 2	21
Конец ознакомительного фрагмента.	38

Тайниковский Кисельные берега

Глава 1

Замеры обеих чаш мы к январю вели восьмой месяц, и вёл их не один человек, а четверо по очереди. Порядок был такой: нижнюю чашу в подвале мерил тот, кто стоял у решётки, дважды в сутки, прибором и ладонью; четвертую на прогалине — тот, кто шёл в обход, и тоже дважды, и для неё у нас был второй прибор, казённый, присланный в сентябре по тому самому донесению, которое Веннер написал перед отставкой. Записи сводил Илмет на одну полосу — две линии, красная и чёрная, одна под другой.

К Рождеству в этой полосе было четыреста шестьдесят замеров.

Обе линии шли ровно. Нижняя чаша держала своё прежнее тепло, чуть больше человеческой руки. Четвёртая, зажёгшаяся в мае, горела столбом в две ладони и не гнулась в ветер, и от неё в морозы над кругом стоял пар, видный с ольшаника.

— Господин, я вам должен показать одно место, и оно мне не нравится.

— Илмет, показывай.

— Вот тут, в конце ноября, — произнес он и положил палец на полосу. — Господин, вы ездили в Кальтен на два дня, двадцать седьмого и двадцать восьмого. И вот тут у обеих линий провал.

* * *

Провал был маленький и был он несомненный. За двое суток моего отсутствия нижняя чаша потеряла столько, что ладонью этого было не различить, а прибор различал, и четвёртая просела так же, и обе выровнялись через сутки после моего возвращения. Илмет нашёл это в декабре, разбирая полосу за месяц, и три недели проверял себя, прежде чем принести.

— Илмет, а ты уверен, что это не мороз?

— Господин, я нарочно взял все морозные дни, — доложил он. — Двадцать девятого ноября было холоднее, чем двадцать седьмого, и провала нет. Господин, оно не от погоды. Оно от вас.

Я сидел и смотрел на эту полосу и думал о том, что мне это сказали в мае, и сказали честно, и что я согласился, зная.

Стынет, пока меня нет.

Я тогда услышал это как будущее неудобство, из тех, что обещают и не сбываются, — а нынче оно лежало передо мной двумя проседающими линиями, вычерченными рукой девятнадцатилетнего мальчишки из Стеклойной степи.

* * *

Опыт мы поставили в январе, и поставили его нарочно, с

моего согласия и по расчёту Гретхен. Я уехал на неделю — в Кальцы и дальше, к мельнику, по делу, которое можно было решить письмом, — и всю неделю Илмет мерил обе чаши четырежды в сутки, а Гуш стоял ночные смены у решётки и записывал, выходит старый или нет.

Вернулся я на восьмой день и получил три числа.

Нижняя чаша за неделю остыла ощутимо: теперь это чувствовала и ладонь. Четвёртая просела на треть, и столб над ней стал ниже на полторы ладони. А старый за эту неделю выходил дважды вместо семи раз, и оба раза ненадолго.

— Господин барон, я вам посчитала, как вы просили.

— Гретхен, говорите числа.

— По этим замерам выходит, что первые трое суток она почти не теряет, — произнесла она. — Потом начинает, и чем дальше, тем быстрее. За неделю треть. Господин барон, я не умею считать вперёд по трём точкам и врать не стану: может, за две недели половина, а может, и вся.

* * *

Хозяйство между тем стояло, и стояло оно лучше, чем в любой из прежних годов. Девяносто три головы, двадцать шесть видов, зачтённых одиннадцать. Пятнадцать человек и шестеро учеников. Тропа за зиму дала двести шесть прохожих и триста сорок золотых пошрины — больше, чем за все прежние зимы, и причина была простая: слух про второй горящий камень разошёлся к осени, и люди пошли смотреть.

Смотреть мы, понятно, не пускали, и от этого выходило

только хуже.

— Господин барон, а можно я скажу про прохожих?

— Тильда, говори.

— Их к весне будет вдвое больше, — произнесла она. — Господин барон, я за зиму стояла у ворот шестнадцать раз и всякий раз кого-нибудь заворачивала. И знаете, что они спрашивают? Не про камень. Они спрашивают, правда ли, что тут барин зверя чует.

* * *

Семейство в клетки к февралю выросло, и выросло оно так, что Илария велела ставить вторую. Оба мартовских к году весили по девять фунтов, ели с круга наравне со взрослыми и начали рыть — сперва в подстилке, потом всерьёз, и в январе прошли под стенкой наружу, и Гуш две недели засыпал за ними ход, а потом махнул рукой и сделал им отнорок с решёткой.

Белянка в феврале опять раздалась.

Илария осмотрела её, сосчитала по своему листу и сказала, что если у этой породы срок как в прошлый раз, то ждать в конце марта, — то есть ровно тогда, когда я буду в дороге.

— Тобиас, я вам это говорю нынче, чтоб вы потом не удивлялись.

— Илария, я вернусь к концу апреля.

— Вы вернётесь, когда вас отпустят, — не приняла она. — Тобиас, я вам не в укор. Я вам к тому, что в прошлый раз вы стояли в шести шагах всю ночь, и я, по правде, думала,

что вы там и нужны. А нынче выяснится, нужны вы были или мне так казалось.

* * *

Вызов из палаты пришёл девятого февраля, и пришёл он с нарочным, а не почтой.

Гретхен вскрыла его при мне, прочла про себя, потом вслух, потом ещё раз про себя, и только после этого положила на стол.

Слушание по делу держателя Реннельского перехода назначено на двенадцатое апреля шестьсот пятьдесят первого года, в палате, в столице. Явка держателя личная и обязательная. При неявке дело рассматривается без него, и постановление в этом случае обжалованию не подлежит.

Срок рассмотрения не указан.

— Гретхен, а отчего срок не указан?

— Оттого, что они его не знают, — отозвалась она. — Господин барон, по такому делу слушают день, а могут слушать и месяц, и это зависит от того, сколько свидетелей вызовут и сколько раз отложат.

* * *

Считали мы это в тот же вечер, вчетвером, и считали до второго часа. До столицы от нас двести вёрст. Весенним путём, в распутицу, почтой — девять суток в один конец, и это при удаче; если мосты пойдут, то двенадцать. Явка двенадцатого апреля, значит, выезжать не позже двадцать восьмого марта. Слушание — от суток до месяца. Обратно ещё

девять.

Меньше двадцати суток не выходило никак.

Больше сорока — легко.

— Господин барон, я скажу первой и скажу грубо.

— Гретхен, говорите.

— Вы поедете, и это не обсуждается, — произнесла она.

— При неявке вас лишат держания заочно и без права обжаловать, и тогда вы останетесь тут частным лицом при двух переходах, которые у вас в тот же месяц заберут вместе с землёй. Господин барон, никакая чаша этого не стоит.

* * *

Илария высказалась второй и высказалась против неё.

— Гретхен, вы считаете одно и не считаете другого.

— Госпожа тен Овеск, я считаю то, что счётно.

— Вот именно, — не приняла Илария. — А несчётное я вам назову. Тобиас уедет на сорок суток. Чаша остынет, и, может, погаснет. А ежели она погаснет насовсем, то по ту сторону останутся девятеро, которым эта дверь была последней из семи. И про это в вашей бумаге не написано ни слова, потому что для палаты их нет вовсе.

Гретхен помолчала.

— Госпожа тен Овеск, вы правы, и я вам на это ничего не отвечу, — отозвалась она наконец. — Я вам отвечу другое. Ежели он не поедет — держание заберут, землю продадут, и на этой земле через год будет стоять чужой сторож, который про них и вовсе ничего не знает. Тогда дверь погаснет не за

сорок суток, а насовсем.

* * *

Спорили мы после этого ещё неделю и спорили по кругу. Мартин предлагал ходатайствовать о рассмотрении на месте — есть такой порядок, редкий, когда палата высылает двоих в уезд вместо вызова, — и сам же признал, что по делу о свойстве держателя на это не пойдут, потому что смотреть будут на самого держателя, а не на бумаги.

Бернат предложил просто: пусть на время его отъезда у чаши посидит кто-нибудь другой.

Это мы проверили и проверили честно.

Гуш просидел у решётки шесть ночей подряд по четыре часа, не тянувшись, потому что не умеет, а просто сидел и был. Илмет — четыре ночи. Тильда — две, и её после этого Илария прогнала спать силой. Линия за эти дни не переменилась ни на волос, и старый выходил столько же, сколько обычно.

— Господин, мы им не годимся.

— Гуш, это мы и так знали.

— Знали, а надо было проверить, — не принял он. — Господин, теперь у нас это записано, и никто после не скажет, что мы не пробовали.

* * *

Пим в феврале пришёл ко мне с тем, о чём я думал сам и не решался заговорить. Он сел, положил на стол тетрадь и открыл её на последней странице, где у него ведётся счёт

ученикам: шестеро нынешних, из них двое взяты в прошлом году из Кальцов, и против каждого — сколько листов написал и по какому предмету.

— Барон, я прошу взять ещё четверых, и я прошу взять их из Овеськи и из-за реки.

— Пим, нам их кормить.

— Их кормить дешевле, чем потом искать людей, — не принял он. — Барон, вы уезжаете на сорок суток, и это в первый раз за десять лет. А я вам скажу, чего вы не заметили: у меня Кемп нынче ведёт младших вместо меня два дня в неделю, и ведёт лучше, чем я в его годы.

Он закрыл тетрадь.

— Барон, школа затем и нужна, чтоб дом стоял, когда хозяина нет. Вы это девять лет говорите про книги. Я то же самое говорю про людей.

* * *

Кемпа я после этого позвал и говорил с ним сам. Ему девятнадцатый, он у нас пятый год, в мае прошлого года он при всех сказал держателю, что тот неверно ведёт свою же книгу, и был прав, а в июне отказался от места писаря в Кальтене и остался.

— Кемп, Пим говорит, ты ведёшь младших.

— Веду, господин барон, два дня.

— А сумеешь все шесть, покуда меня нет?

Он подумал дольше, чем я ждал, и ответил не сразу.

— Сумею, ежели вы одно позволите, — не принял он. —

Господин барон, позвольте мне при них говорить, что я чего-то не знаю. Господин Пим так не делает, а я иначе не могу.

* * *

Про обломок в те же месяцы мы делали всё, что умели, и не узнали почти ничего. Показывать его самого я не стал никому, кроме тех четверых, кому показал в сентябре. Вместо этого Илмет сделал с него четыре рисунка в три проекции — он рисует точно, без красоты, как рисуют в промерах, — и эти рисунки мы за зиму показали всем, кто проходил тропой, и всем, кто приезжал по делу, и спрашивали одно: видел ли кто-нибудь такое и откуда оно.

За зиму тропой прошло двести шесть человек.

Видели восемнадцать. Из восемнадцати четырнадцать сказали «вроде ракушки» и ничего к этому не прибавили, двое сказали «кость», и один — что это накипь из котла на солеварне, и был он очень настойчив, а потом выяснилось, что он на солеварне никогда не был.

Восемнадцатый был из Стеклоанной степи.

* * *

Пришёл он в январе, с соляным обозом Кайрака, и был он не солевар, а возчик, и звали его по-ихнему, и Илмет записал его имя дважды и оба раза по-разному. Он посмотрел рисунок, повернул его, посмотрел ещё и вернул.

— Такие лежат в Мелкой яме.

— А Мелкая яма — это где?

— Это за разливами, три дня, — доложил он через Илме-

та, потому что говорит он плохо и Илмет ему переводил. — Господин, там соль не берут, там соль горькая. Там яма на полверсты, и в ней такие. Их там много.

Илмет переспросил его трижды и на третий раз получил то, ради чего переспрашивал.

— Господин, он говорит, что их там не десять и не сто. Он говорит — как камни в осыпи.

* * *

Кайраку я написал в тот же день и написал коротко, потому что писать ему длинно бесполезно. Спросил я три вещи: правда ли, что в трёх днях за разливами есть яма, полная таких обломков; берёт ли их кто-нибудь; и не проходил ли через Стеклянную степь за последние двадцать лет кто-нибудь, кто ими интересовался.

Ответ пришёл в марте, с тем же обозом, и был он на четверть листа, и писал его не Кайрак, а его писец.

«Барон. Яма есть, и она известна всем, кто ходит южной дорогой. Никто их не берёт, потому что они ни на что не годны: не режутся, не горят и в дело не идут. А спрашивал про них один, восемь лет назад, и спрашивал он подробно, и хотел проводника, и проводника ему не дали, потому что он не сказал зачем. Кайрак».

Илмет, дочитав, положил лист и сел.

— Господин, восемь лет назад.

— Илмет, я считаю то же, что и ты.

— Господин, это шестьсот сорок третий, — произнес он.

— Это тот самый год, в который магистр Веннер в первый раз заметил, что приёмщик не уезжает после работы.

* * *

Про это мы не написали никому и держали у себя. Написать было некуда: Хольт на разъездной части и всякое его письмо читают; Ортвейл в архиве и ему запрещено получать от нас бумаги; Гербольт отвечает как магистр; Веннер отставлен и не пишет. А лезть с этим в палату за месяц до слушания, где меня и без того будут рассматривать как предмет, Гретхен не дала, и была права.

Показывали рисунок и приезжим, и тут вышел случай, который я записал отдельно.

В феврале к нам заехал по дороге аптекарь из Кальтена — тот самый, что скупает у нас сушёное перо и линияющую чешую восьмой год, — и ему рисунок показал Илмет, без меня. Аптекарь смотрел долго, потом спросил, откуда, и Илмет ответил, как условились: нашли на своей земле.

Тогда аптекарь сказал то, чего от него никто не ждал.

— Молодой человек, такие лежат у нас в лавке на верхней полке, и лежат они там сорок лет.

— И откуда они у вас?

— От прежнего хозяина, а к нему пришли с моря, — доложил он. — Мы их зовём морской косточкой и толчём в порошок от изжоги, и никакой пользы в них нет, а покупают охотно.

Илмет переспросил про море трижды, и аптекарь трижды

ответил одно: привозят с побережья, вёрст за четыреста, и привозят мешками, и стоят они дешевле соли.

Обломок я в феврале перепрыгал.

Он лежал у меня в ящике стола под ключом, а в феврале я отнёс его в подвал, к самой загородке, и положил на землю в трёх шагах от решётки — и просидел там ночь, и старый вышел, и сел, и на обломок не посмотрел вовсе.

Он его не узнал.

Я проверил это трижды за февраль и всякий раз получил одно: для него этой вещи нет. Он смотрит сквозь неё, как человек смотрит сквозь чужой мусор на дороге, и никакого различия в нём при этом не появляется.

* * *

А в марте я сделал то, чего не делал с мая, и сделал это без спросу и никому не сказав. Я спустился вниз один: взял бечёвку, фонарь и тетрадь, пролез двести двадцать шагов, вышел в лес и пошёл к поляне с камнем, и никто меня не сопровождал, и Илария узнала об этом от Гуша через четыре часа, когда я уже вылез.

Обломок я нёс за пазухой и там же вынес обратно.

Я показал его троим, которые были на поляне, и показал так, как показывают вещь: положил на подстилку, отошёл и открылся. И получил то же самое, что от старого, — то есть ничего. Ни узнавания, ни любопытства, ни беспокойства.

Их лес не знает этой вещи.

* * *

Зато я узнал другое, и узнал случайно, и записал в тетрадь прямо там. Поляна с камнем за девять месяцев переменилась. Подстилка вокруг него была вытоптана шире прежнего, и вытоптана она была не в кольцо, а полосой, уходящей от камня в ту сторону, куда я ни разу не ходил, — и полоса эта была широкая и битая, как бывает бита тропа, по которой ходят помногу и подолгу.

Я прошёл по ней шагов двести и вернулся, потому что бечёвки не хватило.

Но и двухсот шагов хватило, чтобы понять две вещи. Первая: их тут больше девяти, и я видел в мае не всех. Вторая: тропа шла под уклон, и чем дальше, тем ниже, и воздух по ней шёл навстречу — тот же тёплый и влажный, но с примесью, которой в мае не было и которую я узнал не сразу.

Пахло солью.

* * *

Наверх я вылез в пятом часу и попал прямо в разговор, который мне устроили в кухне. Стояли там Илария, Гретхен и Гуш, и сидела Мавра, и по тому, как они расставились, было видно, что говорили они обо мне не меньше часа.

Первой заговорила не Илария, чего я ждал, а Мавра.

— Мальчик мой, ты один полез.

— Мавра, я полез на четыре часа и с бечёвкой.

— Ты полез один, — отрезала она. — В прошлый раз при тебе шестеро стояло, и барышня часы держала, и весь дом не спал. А нынче ты потихоньку, чтоб не спорили. Мальчик

мой, это не смелость. Это ты от нас прятаться начал.

* * *

Илария после этого говорила со мной во дворе и говорила недолго.

— Тобиас, я вам скажу два слова и пойду.

— Илария, я слушаю.

— Первое: я вас не отговариваю лазить, и не стану, — произнесла она. — Второе: я в мае восемь часов просидела у решётки и считала вслух, и вы это знали. А нынче я четыре часа не знала, где вы.

Она застегнула сумку.

— Тобиас, я не в обиде. Я вам объясняю, как это устроено, потому что вы, по-моему, не знаете. Когда человек живёт с вами в одном доме, он за вас переживает, и это не его выбор, а ваш.

* * *

Выехать я решил двадцать пятого марта, и решил это сам, и объявил за ужином. Расчёт был простой. Девять суток до столицы, двенадцатого слушание, и всё, что сверх, — как выйдет. Гретхен собрала мне дело в трёх списках: свод за оба года, восемнадцать листов «по ту сторону», замеры обеих чаш, оба акта Веннера, копию акта мастера Вильда, справку Гербольта и письмо Ортвейла, которое он написал мне в ноябре и которое я взял без его разрешения.

Мартин в эти дни готовил меня к столице так, как Гретхен готовила к августовской комиссии, — то есть вопросами.

Он сажился напротив с тетрадью и спрашивал тем самым сухим голосом, и всякий мой ответ разбирал по словам. К третьему вечеру я понял, что он спрашивает не о деле.

— Барон, где вы станете жить в столице?

— Мартин, на постоялом дворе.

— На котором? — не принял он. — Барон, их там сорок, и в шести живут те, кто ходит в палату, и в этих шести вас будут слушать за ужином и пересказывать наутро. Я вам назову седьмой, и он дальше от палаты на версту, и вы будете ходить пешком и злиться, и это дешевле, чем то, что вы наговорите за ужином.

— Мартин, вы меня совсем за дурака держите?

— Барон, я вас держу за человека, который десять лет прожил в лесу и три раза выезжал, — доложил Мартин Векель. — И который нынче едет туда, где о нём читали, а его не видели. Вас там будут звать в гости, и звать будут любезно.

* * *

Мавра собирала меня два дня и собрала так, что я потом в дороге доставал и удивлялся.

Рубах вышло четыре вместо двух, и все четыре чиненые и выглаженные; сапоги она отдала Бернату подбить и проверила, как подбиты; в сумку положила соль в тряпице, сухари и бутылку своей наливки, про которую в доме известно, что она её делает раз в три года и никому не даёт.

Про наливку я спросил, уже сидя на телеге.

— Мавра, а наливка мне зачем?

— А ты, мальчик мой, её не пей, — ответила она. — Ты её там кому-нибудь отдай, кто тебе добро сделает. Они в столице такой не видали, и им будет приятно, а тебе польза.

Она поправила мне воротник, чего не делала никогда.

— И вот ещё что. Ты там не оправдывайся. Ты, мальчик мой, как начнёшь оправдываться — так сразу делаешься виноватый, я это двадцать лет на сыне видела.

* * *

А накануне отъезда пришло то, чего никто не ждал.

Приехал нарочный из Кальтена, не казённый и не почтовый, а частный, и привёз письмо на хорошей бумаге, и на печати был знак, которого я не видел два года, но который узнал сразу.

Консорциум «Солнечный Кряж».

Писала Иветта Марвейн, и письмо было в шесть строк.

...

«Барон. Я обещала вернуться и возвращаюсь, хотя и не так, как собиралась. Прошу принять меня двадцать третьего марта, до вашего отъезда в столицу. Я знаю о слушании и знаю дату, и об этом вам стоит подумать отдельно.

Я приеду одна и без бумаг. У меня к вам не предложение, а вопрос, и вопрос этот не про землю.

И. Марвейн».

Читали мы это письмо вчетвером и читали трижды.

Илария, дослушав, взяла лист сама, перечла последние две строки и вернула, и по лицу её было видно, что она ду-

мает о другом.

— Тобиас, а вы её помните?

— Илария, я её видел трижды, и последний раз девять лет назад.

— Я не про лицо, — не приняла она. — Тобиас, эта женщина девять лет назад приехала отнимать у вас землю и честно сказала, что не знает про порталы ничего. И оказалась права, и сама же от этого пострадала. Я бы на вашем месте её приняла.

— Илария, я и собираюсь.

— Я знаю, что собираетесь, — уточнила Илария тен Овеск. — Я к тому, чтоб вы приняли её как человека, а не как консорциум. Вам за десять лет не так много народу говорило правду в глаза себе в убыток.

Гретхен прочла это дважды и положила на стол между нами.

— Господин барон, я про эту женщину знаю всё, что писано, и скажу вам одно.

— Гретхен, говорите.

— Она за десять лет ни разу не приезжала без бумаг, — произнесла она. — И ни разу не писала, что у неё вопрос. Господин барон, она к вам едет не от консорциума.

Глава 2

Приехала Иветта двадцать третьего к полудню, в наёмной коляске из Кальцов, и приехала одна, как и писала. Я вышел к воротам и сам подал ей руку, и Иветта это отметила — не поблагодарила, а именно отметила, коротким взглядом, каким считают всё, что видят. За десять лет она поседела на висках, похудела и стала суше лицом. Дорожное платье на ней было того же цвета мокрого песка и такое же без единого украшения, и я подумал, что за десять лет она не переменяла в себе ровно ничего, кроме возраста.

Первое, что она сделала, войдя во двор, — остановилась и осмотрела его слева направо.

Точно так же, как десять лет назад осматривал Ольгерд Марвейн, и я сообразил, что она этому у него и выучилась, и, пожалуй, у него одного.

— Барон, у вас девять дворов.

— Девять и два зимовника, Иветта.

— В шестьсот сороковом было шесть, и три из них текли, — не приняла она. — Я это помню, потому что чертила план, на котором их было четырнадцать. Мой план, барон, был лучше вашего, а ваш оказался настоящим.

* * *

Мавра накрыла в малой гостиной, и накрыла она там, где накрывала Марвейнам десять лет назад. Стол был тот самый

— расшатанный, который она в первый год отвергла, а потом вернула, и с тех пор он стоял там же. Иветта на него посмотрела, узнала и ничего не сказала.

Ела она с аппетитом, как ела тогда в трактире у ратуши.

— Барон, я начну, как обычно, с неприятного.

— Иветта, начинайте с чего угодно. У меня нынче нет неприятного, которого я не знал бы.

— Есть, — отрезала она и отставила тарелку. — Барон, проект курорта закрыт. Закрыт он в позапрошлом году, тихо, без объявления, и я узнала об этом из расходной ведомости, куда полезла по другому делу.

— Иветта, а вы сами-то где?

— А я числюсь, — отозвалась Иветта Марвейн. — Восьмой год веду проект, которого нет. Мне платят жалованье, мне присылают бумаги, у меня контора в Кальтене и два писца. И всё это, барон, ровно затем, чтобы я не увольнялась и не задавала вопросов в другом месте.

* * *

Дальше она изложила то, что искала эти годы, и изложила за полчаса. После того слушания в первой книге моей жизни — того, на котором стряпчий консорциума дважды заявлял протест и дважды его отклонили, — она сделала то, чего от неё, я думаю, не ждал никто. Она не бросила проект и не ушла. Она осталась и стала выяснять, приложением к чему была.

Восемь лет она собирала расходные ведомости своего же

консорциума.

Не тайком: по должности ей полагалось видеть всё, что тратилось на её проект, а тратилось на него много и по разным статьям, и всякий раз, когда в ведомости попадалась статья, к курорту отношения не имеющая, она её выписывала. За восемь лет выписок набралось четыреста с лишним.

— Барон, я вам их не привезла и привозить не стану.

— Иветта, я понимаю.

— Не понимаете, — не приняла она. — Я их не привезла не оттого, что вам не доверяю. Оттого, что если их найдут у вас, меня уволят в тот же день, а если найдут у меня — уволят и меня, и обоих моих писцов, у которых семьи. Барон, я восемь лет держу это в голове и в одной тетради, которой нет названия.

* * *

Потом она назвала то, ради чего, как я понял позже, и ехала первым делом.

— Барон, вы слыхали про дом Ирльских ломок?

Я поставил чашку и сделал паузу ровно такую, какую сделал бы человек, впервые услышавший название.

И тут же сообразил, что она эту паузу заметила, потому что она считает всё, что видит.

— Слыхал, Иветта.

— Тогда я не стану вам объяснять, что это, — уточнила она. — Барон, через этот дом мой консорциум за восемь лет провёл сто девяносто четыре платежа. Сто девяносто четы-

ре, и все по статьям моего проекта: изыскания, подряды, разведка вод. Я под этими статьями подписывалась сама, потому что они шли по курорту, а курорт вела я.

Она помолчала и договорила ровно.

— Барон, я восемь лет подписывала то, чего не понимала. И у меня к вам от этого один вопрос, и я за ним ехала двести вёрст.

* * *

Вопрос она задала прямо, не смягчая и не обставляя.

— Что у вас тут под землёй?

Я на это ничего не ответил сразу и сидел, я думаю, полминуты, и она мне не мешала и не торопила, и смотрела она не на меня, а в окно, чтобы не мешать.

Думал я не про то, можно ли ей сказать.

Думал я про то, что в кабинете у меня лежит дело в одиннадцать фунтов, в нём восемнадцать листов «по ту сторону», и всё это через двадцать дней ляжет на стол перед палатой, и станет казённой бумагой, и её прочтут десятки людей, из которых половина будет читать по должности, а вторая половина — по любопытству.

А передо мной сидела женщина, которая восемь лет собирала выписки в голове.

— Иветта, я вам отвечу, и отвечу правду, — ответил я. — Только сперва скажите, зачем вам.

* * *

Ответ у неё был готов, и она его, я думаю, тоже везла две-

сти вёрст.

— Барон, мне сорок один год, и двенадцать из них я отдала одному проекту, — ответила она. — Я его защищала на слушаниях, я по нему спорила с вами и считала вас препятствием. Я честно думала, что строю гостиницу, воды и зеринец и привожу в уезд триста двенадцать рабочих мест.

Она сложила руки на столе.

— А потом выяснилось, что мой проект — прикрытие. И я, барон, восемь лет живу с тем, что была не злодейкой и не дурой, а ширмой. И вот это, барон, обиднее всего, потому что ширму не в чем упрекнуть.

— Иветта, вы могли уйти.

— Могла, — подтвердила она. — И тогда бы я никогда не узнала, ради чего. Барон, я не за справедливостью приехала и не мстить. Я приехала узнать, ради чего были эти двенадцать лет.

* * *

Сказал я ей всё, и говорил я полтора часа, и рассказал почти столько же, сколько рассказывал комиссии в августе. Про чаши, заткнутые без клейма: сорок семь, из них сорок погашены насовсем, семь спят. Про то, что двери держатся живым с обеих сторон и что за двадцать лет по ту сторону умерли сорок. Про приёмщика, который присутствует при работах по закону и которого в акты не вносят. Про грибное сырьё по цене вшестеро против шафрана. Про лес внизу, про девятерых, про старого, который год рыл навстречу, и про

то, чем я за это плачу.

Не сказал я двух вещей.

Не сказал про обломок, потому что не знал, что это, а рассказывать непонятное человеку, который восемь лет собирал понятное, показалось мне нечестным. И не назвал имени Хенде — назвал только дом.

Она слушала, не перебив ни разу, и один раз за полтора часа встала и подошла к окну, и постояла там спиной ко мне, и вернулась.

— Барон, сорок дверей.

— Иветта, сорок ровно.

— И за каждой кто-то был, — задумчиво ответила она и села. — Барон, я столько лет считала, что худшее, что мы делаем, — это сгоняем с земли одного упрямого барона, которому эту землю жалко.

* * *

Потом она сделала то, чего я не ждал, и сделала это буднично. Она попросила бумагу, перо и полчаса, села к столу и написала два листа, и написала их своим почерком, не спрашивая, что мне нужно.

На первом был перечень: сто девяносто четыре платежа не поимённо, а по годам и статьям, с суммами, — то есть то, что она восемь лет держала в голове. На втором — двадцать два имени: люди её консорциума, которые в разные годы вели то, что шло мимо курорта, с пометками, кто где служит теперь.

Она подписала оба и поставила число.

— Иветта, вас за это уволят.

— Меня за это уволят, только если вы это покажете, — ответила она. — Барон, вы через двадцать дней едете в палату. Я вам отдаю это с одним условием, и условие простое: вы это кладёте в дело не сразу, а тогда, когда поймёте, что иначе вас съедят.

— А если не съедят?

— Тогда сожжёте, — отозвалась Иветта Марвейн. — Барон, я двенадцать лет ставила на то, что вы меня переиграете, и все двенадцать лет проигрывала. Я нынче ставлю на то же самое.

* * *

Гретхен, которую я позвал читать эти листы, прочла их при ней и задала два вопроса, и оба были не о содержании.

— Сударыня, вы это писали по памяти?

— По памяти, — подтвердила Иветта.

— Сударыня, а ошибки в них есть?

— Наверняка есть, — не приняла она. — Восемь лет и четырёхста выписок, а тут сто девяносто четыре строки. Ошибки будут в суммах, в двух-трёх годах и, может быть, в одном имени.

Гретхен положила листы и кивнула — не ей, а мне.

— Господин барон, я их подошью в отдельное дело и заведу к ним свой лист, где напишу, что записано со слов и проверке не подлежит. Сударыня, вы не обижайтесь, это не про вас. Это у нас так со всем.

— Я не обижаюсь, — отозвалась Иветта. — Я, признаться, оттого к вам и приехала. Барон, у вас тут единственное место в королевстве, где всякое слово подшивают и никого при этом не топят.

* * *

Мавра за весь день заговорила с ней один раз, и заговорила вечером, убирая со стола.

Она собирала посуду, а Иветта сидела и не мешала, и в кухне были только они двое и я, и я сидел в углу и не вмешивался, потому что тут вмешиваться нельзя.

— Барыня, вы в тот раз шей не доели.

— В какой раз? — не поняла Иветта.

— В июне, десять лет тому, — не приняла Мавра. — Я вам тогда шей подала, а вы полчашки съели и оставили, и я обиделась. Я, барыня, десять лет это помню, и вы уж не обессудьте, что я вам нынче это в глаза говорю.

Иветта посмотрела на неё и ответила не сразу.

— Хозяйка, я тогда приехала отнимать у вас дом и знала, что отниму, — отозвалась она. — И ела я у вас за столом. Мне кусок в горло не шёл, вот и всё.

Мавра подобрала со стола крошки в ладонь.

— Ну, стало быть, вы не совсем пропащая, — заключила она. — Я тогда решила, что вы брезгуете. А оно вон как.

* * *

Про морскую косточку я всё-таки спросил, и спросил уже вечером, когда думал, что разговор кончен.

Спросил я не прямо: показал ей рисунок Илмета, один из четырёх, и сказал, что нашли на нашей земле и не знаем, что это.

Она взяла лист, поднесла к свече и вернула почти сразу.

— Барон, это мы возили.

Я, кажется, переспросил не сразу.

— Иветта, кто — мы?

— Консорциум, — ответила она. — Барон, в шестьсот сорок третьем и сорок четвёртом мы возили это с побережья, по моей статье, как балласт. Тридцать два воза за два года. И я тогда впервые и задумалась, потому что балласт покупают там, где он дешевле, а не за четыреста вёрст.

* * *

Дальше она рассказала это подробно, и Илмет писал, и она не возражала. Возили с Кисельного берега — это южное побережье, четыреста вёрст, три недели пути, и берег этот зовут так оттого, что после отлива на нём остаётся тёплая муть в палец толщиной, и по ней нельзя ходить, а можно только вязнуть. Рыбаки её не любят. Ракушки, которые там лежат, местные зовут кисельными и в пищу не берут, потому что они несъедобные, а толкут в порошок и продают аптекарям.

Возили не ракушки.

Возили битый ракушечник, самый крупный, отбирая по величине, и отбирали его по описи, и опись составлял не приказчик, а присланный человек.

— Иветта, а куда это везли?

— В Кальтен, на склад дома Ирльских ломок, — ответила она. — И оттуда, барон, оно никуда не уходило. Я проверяла дважды, потому что мне это самой было интересно. Привезли тридцать два воза и ни одного не вывезли.

* * *

Я в ту ночь не спал и под утро сделал то, что делаю всегда, когда не сходится. Я спустился в подвал, сел у решётки и положил обломок перед собой на землю, и просидел там до света, и старый в ту ночь вышел дважды, и оба раза сел и не посмотрел на него.

А к рассвету я сообразил вещь, от которой мне стало нехорошо.

Обломок я нашёл внизу, в их лесу, на тропе, в сорока шагах от лаза. Они его не знают. Значит, он там не рос и не лежал испокон веку — его туда принесли. А наверху, в Кальтене, на складе, с сорок третьего года лежит тридцать два воза такого же, и лежит оно там, никуда не уходя, и никто в королевстве не знает, зачем.

И между этими двумя местами — один дом, один приёмщик и одна семилетняя привычка не уезжать после работы.

За завтраком я изложил это Гретхен, Мартину и Иветте разом, и первым отозвался Мартин.

— Барон, они это туда носят.

* * *

Бернат, которого позвали к обеду и которому показали обломок при ней, вертел его четверть часа и высказался по-

своему.

— Барон, я вам про него одно скажу, а вы после решайте. Эта вещь легче камня и тяжелее кости, и она не горит.

— Бернат, вы её жгли?

— Жёг, барон, в декабре, уголок отбил и в горн сунул, — не принял он. — Вы не серчайте, я вам не сказал, потому что вышло ничего: полежала в жару час и вынулась целая, только потемнела с краю. Я такого не знаю.

Иветта на это подняла голову от тарелки.

— Мастер, а в воде она тонет?

— Тонет, сударыня, как камень.

— Тогда она не для плавания и не для тепла, — уточнила Иветта Марвейн. — Барон, я двенадцать лет считаю чужие расходы и скажу вам, как думает купец. Ежели вещь не горит, не режется, не плавает и ни на что не годна — её возят только затем, что она где-то нужна целиком, а не кусками.

Спорили мы об этом всё утро и не сошлись ни в чём, кроме одного. Мартин стоял на том, что носят: склад в Кальтене, восемь лет, никуда не уходит, а внизу лежит такой же обломок со свежим сколом. Гретхен возражала, что склад в Кальтене за четыреста вёрст от нас и что до нашей чаши это добро надо ещё как-то донести, а через нашу чашу за восемь лет никто не проходил, потому что она спала.

И тут Иветта задала вопрос, до которого не дошли ни он, ни она.

— Барон, а сколько у вас всего этих спящих дверей?

— Иветта, их семь.

— А сколько из них на земле, которую прибрали к рукам?

— Все семь, — отозвался я и услышал, как это звучит, только выговорив.

Она развела руками.

— Барон, тогда вам незачем спорить. Ваша дверь у них была седьмой и самой неудобной. А носить они могли в любую из шести.

* * *

Илмет всю ночь считал и к утру принёс расчёт, которого никто не заказывал.

Он взял три числа — тридцать два воза за два года, семь спящих дверей и восемь лет, прошедших с сорок четвёртого, — и разложил их так, как раскладывает всё: столбцом, с оговорками и с честной пометкой, где гадает.

— Господин, я вам покажу и сразу скажу, что тут половина выдумана.

— Илмет, показывай, я поправлю.

— Тридцать два воза — это, по весу, тысяч шесть таких обломков, — доложил он. — Ежели носить через одну дверь и носить понемногу, чтоб не заметили, то это лет на десять работы. А ежели через шесть — то на полтора года.

Он подчеркнул нижнюю строку.

— Господин, и вот главное. Они возили это два года и перестали. Стало быть, они это либо уже унесли, либо бросили. А я вам скажу, что не бросили, потому что склад стоит

и никуда не уходит.

* * *

Иветта, которой это прочли при мне, выслушала и задала один вопрос.

— Молодой человек, а вы когда-нибудь видели, чтобы на склад свозили то, чего нельзя купить в другом месте?

— Сударыня, я в Кальтене не был ни разу.

— А я была двенадцать лет подряд, — не приняла она. — И вот вам моё соображение, и оно не счётное, а купеческое. Балласт на склад не свозят. На склад свозят запас. А запас, молодой человек, делают тогда, когда знают, что товар кончится.

* * *

Уезжала она в тот же день после обеда и уезжала спокойно. На крыльце она задержалась ровно настолько, насколько задержался десять лет назад Ольгерд Марвейн, и я вспомнил это и, кажется, изменился в лице, потому что она спросила.

— Барон, что с вами?

— Иветта, вы стоите там же, где стоял ваш глава, и так же.

— Ольгерд Марвейн умер в позапрошлом году, — ответила она. — В сентябре. И, барон, я вам скажу то, чего не говорила никому: последние два года он не подписывал ничего по нашему проекту. Ни одной бумаги. За него подписывал поверенный.

Она натянула перчатку.

— Я это заметила тогда же и решила, что он болен. А нын-

че я думаю, что он просто перестал.

* * *

Про то, кто подписывал за Марвейна, я спросил прежде, чем она села.

— Иветта, а поверенный — он кто?

— Барон, я его видела дважды и оба раза со спины, — ответила она. — Он не из нашей конторы, и в наших бумагах его имени нет вовсе, а подпись стоит: «по доверенности».

— Иветта, и вас это не занимало?

— Меня это занимало восемь лет, — отозвалась она. — Барон, я эту подпись знаю лучше собственной. Она стоит на девяноста двух бумагах, и на всех девяноста двух стоит одинаково, и написана она человеком, который пишет много и быстро. И вот что я вам скажу напоследок, а вы думайте.

Она остановилась у подножки.

— В этой подписи одна буква незамкнута. Всегда одна и та же, и всегда одинаково.

* * *

Я после этого пошёл за Мартином и привёл его к коляске, и он выслушал и попросил её повторить.

Она повторила слово в слово, и он попросил ещё раз, и она повторила в третий, и тогда он снял шапку, чего на дворе при дамах не делает.

— Сударыня, а буква какая?

— «О», — ответила Иветта. — Верхний завиток не сходится, и от этого она похожа на подкову.

Мартин Веккель постоял, надел шапку и отошел ровно.

— Сударыня, я одиннадцать лет служил при человеке, который так писал. И он одиннадцать лет учил меня узнавать свою руку по этой букве, и я её узнаю из тысячи.

— И кто же это? — уточнила она.

— Это магистр Эрих Веккель, — доложил он. — Только он умер девять лет назад, сударыня. А ваши девяносто две бумаги — за последние два года.

* * *

Перед самой коляской она задала последний вопрос, и задала его не про дело.

— Барон, вы едете двадцать пятого?

— Двадцать пятого, Иветта.

— И вы понимаете, что вас там продержат до мая?

— Понимаю, — подтвердил я.

Она постояла, глядя мимо меня, на ворота карантинного двора, где в это время Гуш нёс ведро и где по двору за ним шли, не привязанные и никем не гонимые, двое годовалых.

— Барон, я вам напоследок скажу одну вещь и уеду, — произнесла Иветта Марвейн. — Двенадцать лет назад я спросила вас, что вы привезёте в этот уезд, и вы сказали: шестой вид. Я тогда решила, что вы дурак.

Она села в коляску.

— Вы и были дурак, барон. Просто вы оказались правы, а это разные вещи, и одно другому не мешает.

* * *

Последние два дня перед отъездом я провёл не за бумагами, а в подвале и в клети.

В клети Белянка ходила тяжело и лежала на левом боку, и Илария смотрела её трижды в день, и оба годовалых из клети не выходили вовсе, чего с ними не бывало с осени. В подвале старый выходил все три ночи и сидел дольше обычного, и в последнюю ночь просидел четыре часа, и я просидел напротив него столько же, и мы оба знали, зачем.

Сказать ему я ничего не мог, и я не пробовал.

Вместо этого я в последнюю ночь сделал то, что придумал сам и в чём до сих пор не уверен: я открылся и просто держал перед ним одну вещь — то, что уезжаю и вернусь. Не образ и не слово, а вот это самое, как держат перед зверем ладонь, чтоб понюхал.

Он посидел, повёл мордой сверху вниз и ушёл в нору раньше обычного.

— Господин, он нынче раньше ушёл.

— Гуш, я знаю. Я ему сказал.

— Ну и ладно, — кивнул он. — Господин, вы не думайте, что он обиделся. Он, может, пошёл своим это передать.

* * *

Выехал я двадцать пятого марта, в шестом часу утра, и провожал меня весь дом. Гуш вывез меня на телеге до Кальцов, дальше почтой. Сумка была уложена Маврой, дело в трёх списках — Гретхен, и третий список она велела везти отдельно от первых двух и нигде их не складывать вместе.

Мартин дал мне название седьмого постоянного двора и написал его на бумажке, которую велел съесть, если что, и на моё замечание, что это уже чересчур, ответил, что за одиннадцать лет в палате видел и не такое.

Илмет вручил мне чистую тетрадь в четыре графы.

Тильда — переписанный набело годовой лист за десятый год, чтобы я его вёз и, если понадобится, показывал, потому что «господин барон, там будут спрашивать, чему вы их учите, а вы станете объяснять словами и объясните плохо».

А Илария вышла к телеге последней и подошла, когда я уже сидел.

— Тобиас, я вам скажу два слова.

— Илария, я слушаю.

— Первое: я буду мерить чашу сама, четырежды в сутки, и записывать, — произнесла она. — Второе: если она начнёт гаснуть всерьёз, я вам не напишу.

— Илария, отчего?

— Оттого, что вы бросите всё и поедете обратно, — спокойно ответила она. — И потеряете держание, и тогда она погаснет насовсем. Тобиас, я вам это говорю в глаза и заранее, чтобы вы потом не думали, будто я вас обманывала. Я вам буду писать, что всё хорошо, и вы будете это читать и знать, чего оно стоит.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.